

люционный движении. В период, когда и в России, и в Сербии реакция перешла в наступление, революционеры двух стран содействовали сохранению и развитию демократических и социалистических традиций.

Рассматриваемое исследование опровергает существовавшее ранее в историографии представление о том, что с конца 70-х гг. XIX в. отношения России и Сербии были фактически прерваны*. Как явствует из рецензируемой работы, русско-сербские связи продолжали развиваться в существенной мере благодаря контактам общественного характера даже в годы возрастания австрофильских тенденций в политике правящих кругов Сербии.

Рецензируемая монография восполнила

один из пробелов в освещении русско-сербских отношений в XIX в., обогатила отечественную историографию неизвестными фактами, свежими наблюдениями, относящимися к общественным связям России и Сербии в последней четверти XIX в.

В. И. Шерemet

Примечание

* См.: Пр ж и н И. Сполатшна политика Србије (1804—1914). Београд, 1939; Восточный вопрос во внешней политике России. М., 1978. С. 246—247.

С. В. МИРОНЕНКО. САМОДЕРЖАВИЕ И РЕФОРМЫ. Политическая борьба в России в начале XIX в. М.: Наука, 1989. 239 с. Тир. 10 000

Автор монографии исследует попытку Александра I реформировать политический и социально-экономический строй России: ввести конституцию и отменить крепостное право. Нельзя сказать, что это новый сюжет в историографии. Еще В. О. Ключевский в своих лекциях говорил о колебаниях Александра I «между конституционными идеалами и абсолютистскими привычками»; характеризуя вторую половину царствования Александра I, историк вел речь о трех проектах освобождения крестьян — Мордвинова, Аракчеева и Канкрин, составленных по поручению царя, о слухах, что «для империи вырабатывается новое государственное устройство: проект этот был поручен будто бы бывшему сотруднику императора Новосильцеву»¹.

Ключевский не был исследователем эпохи Александра I, но ссылка именно на такого талантливого автора университетского учебного курса помогает понять, как вольно или невольно создаются устойчивые историографические стереотипы, преодоление которых дается нелегко. И в данном случае деление царствования Александра I на два периода — реформаторски-либеральный и консервативный, воспринятое Ключевским от Н. К. Шильдера, дошло до наших дней. Автор монографии отказывается от этого стереотипа и приходит к выводу, что «реформаторские замыслы и внутренняя политика правительства оставались как бы двумя параллельными линиями, которым так и не суждено было соединиться в самой отдаленной точке. В этом смысле все

александровское царствование (за редкими исключениями, какими были, например, указ о вольных хлебопашцах 1803 г. или личное освобождение крестьян в Прибалтике в 1816—1818 гг.) предстает удивительно цельным» (с. 207). В Заключении определена хронологическая грань подобного состояния 1822—1823 гг., когда наступила пора открытой реакции (с. 229). Но если бы читатель попытался конкретизировать эту «удивительную цельность», заметив, что Александр I в своих либеральных деяниях и помыслах был потенциально консервативен и это в итоге привело к открытой реакции, то и автор, и все содержание его книги этому бы воспротивились.

В монографии задача исследования справедливо «вписана» в общую тему «самодержавие и реформы» именно в такой последовательности. Поэтому изучение кардинального вопроса — «насколько реальны были в России начала XIX в. (1815—1825 гг., как ранее уточняет автор. — Б. Л.) введение конституции и освобождение крестьян?» (с. 6) — начинается с обстоятельной главы «Самодержавная власть: структура, организация, исполнители» (с. 28—60). Это оправдано не только тем, что в первое десятилетие XIX в. в стране установилась министерская система управления, но и потому, что ее складывание так или иначе связано с историей отторжения в проектах идей М. М. Сперанского, прозвучавших в какой-то мере поколебав единодержавие. Свообразным мутантом предполагавшихся высших представительных учреждений явился Госу-

дарственный совет. Согласно манифесту от 1 января 1810 г., данный законосовещательный орган формировался царем из высших представителей дворянства. В книге на основе 22 формулярных списков его членов обрисован впечатляющий коллективный портрет этого органа (с. 37—40).

Статистическая разработка показателей в списках — источниковедческая удача автора, обратившего вслед за П. А. Зайончковским к этому виду массовой документации. Автор разрушил некоторые устойчивые представления, например, о преклонном возрасте членов Совета. Оказывается, к 1825 г. только 13,5% его членов были старше 65 лет (3 человека), но зато моложе 50 лет было 5 человек (22,6%); 68,2% — профессиональные военные, непосредственные участники войн конца XVIII — начала XIX в. Характеристика состава высшей судебной инстанции в империи — Сената, содержащаяся в книге, опровергает расхожее мнение о сенаторах-старцах. Более 60% сенаторов были моложе 60 лет. Одряхление состава и Государственного совета, и Сената стало реальностью николаевского времени. В Сенате был сравнительно выше удельный вес лиц с высшим и специальным образованием, чем в Государственном совете. Менее однороден был Сенат по имущественному показателю: более 12% сенаторов были мелкопоместными. Меньшая элитарность состава Сената не могла не влиять на его положение в высшем эшелоне власти, хотя формально Государственный совет и Сенат были равны, — делает вывод автор (с. 48).

Показателен содержащийся в книге анализ формулярных списков бюрократии губернского звена — губернаторов, «доверенных лиц венценосца», и председателей губернских палат. Наша литература до сих пор ограничивается единственной книгой о русских губернаторах А. Блинова, вышедшей 85 лет назад. Среди губернаторов было меньше выходцев из непривилегированных сословий, чем среди сенаторов. Большинство также участвовало в войнах. Их состав был однороден и по имущественному положению: не было среди них земельных магнатов, но основная масса владела достаточным количеством крепостных (от 200 до 2000). Автор полагает, что они представляли «наиболее типичное ядро помещичьего класса» (с. 53). Что касается «типичности», то она относительна, так как уже в первой четверти XIX в. в российском обществе весьма заметен слой мелких помещиков, который в губернском корпусе не представлен. Председатели губернских палат — в основном потомственные дворяне, но явно беднее губер-

наторов. Около 37% не имели крестьян и земель, мелкопоместных было около 4%. Иначе говоря, это уже бюрократы-профессионалы.

Общую картину чиновничьего корпуса верхнего эшелона власти до губернской включительно автор воспроизводит на основе 442 формулярных списков. Они свидетельствуют, что правящая бюрократия распадалась на две крупные группы: чины второго — четвертого классов составляли 39,4%, а чины пятого, шестого — 50,7%. Именно они и «делали погоду». По нашим сегодняшним представлениям, более 80% из них были трудоспособного возраста (до 60 лет), а по меркам начала XIX в. по крайней мере 52% были вполне дееспособными (до 50 лет). Автор убедительно доказывает, что чем выше по служебной лестнице находились чиновники, тем меньше среди них было малолетних.

Статистический портрет правящей бюрократии играет важную роль в общей установке автора о том, что в ее верхнем эшелоне не было видимых стимулов к переменам. Добавим, что вместе с тем широкий слой бюрократии был готов выполнять любое поручение верховной власти и мог бы вслед за Кукольниковым сказать: «прикажут, завтра буду акушером». Таковой была психологическая атмосфера в правящем аппарате, которая, на мой взгляд, позволяла самодержцу осуществлять любые свои предначертания.

Значительно модернизированный аппарат управления по сравнению с екатерининским и павловским временем все же, как утверждает автор, не отвечал требованиям дня. Это обстоятельство и является объективной базой личного стремления Александра I к реформе политического строя.

В двух главах — «Самодержавие и крестьянский вопрос», «Самодержавие и конституция» — на фундаментальном фактическом материале, по преимуществу впервые вводимом в научный оборот, вполне убедительно показано, что конституция и отмена крепостного права не оставались лишь благими пожеланиями Александра I, но были воплощены в реально сформулированные проекты, которым оставалось только придать статус законов. Этого, однако, не произошло. Реальность же отражена автором в названии четвертой главы — «Крушение реформаторских замыслов. Правительственная реакция».

В отличие от своего прямого предшественника по разработке данной темы А. В. Предтеченского², видевшего в исторических реалиях александровских действий только его лицемерие, С. В. Мироненко убежден, что Александр I действительно хотел ограничить

самодержавие и отменить крепостное право. И автору удается убедить в этом читателя. Вот в чем, думается, новизна и ценность работы. Слабее автор выглядит в объяснениях причин провала подобных попыток царя.

Главную причину, которая не позволила освободить крестьян и попытаться изменить политический строй страны уже в начале XIX в., автор видит в «сопротивлении подавляющей части дворянства» (с. 282). Для реализации задуманных реформ самодержавие, по его мнению, должно было решиться на насилие над своей собственной социальной опорой. К этому Александр I не был еще готов, он «решительно исключал самую мысль о возможности давления на дворянство, настаивал, чтобы в основание любого проекта отмены крепостного права был положен принцип добровольности. И, признавая невозможность его собластоу, — заключает автор, — верховная власть отказалась от реформ вообще» (с. 233). Несколько десятилетий спустя, уже в иных условиях, Александр II осознал неизбежность такого насилия, и буржуазные реформы начали осуществляться.

Слабость этих объяснений — результат застоя стереотипов в нашем историческом мышлении. Стереотип первый: самодержавие и крепостное право — «близнецы-братья». Так ли это? Если речь идет о феодальном строе и самодержавии, то это так. Но крепостное право только один — и самый тяжелый — вариант феодального строя. Россия знает два варианта этого строя: государственный и помещичий. Государственный и помещичий крестьянин — оба феодально зависимые, но первый пользуется гражданскими правами, а второй — личностно-зависимый. Ликвидация личной зависимости от владельца во втором десятилетии XIX в. вовсе еще не означала бы ликвидацию феодального строя. Секуляризация церковных земельных имуществ, например, не что иное, как переход владельческих крестьян в разряд государственных. Это вовсе не затронуло основ феодального строя не только потому, что монастырских крестьян было во много раз меньше, чем помещичьих; случись невозможное, Екатерина II вместо расширения зоны помещичьего владения и личной зависимости крестьян распространила бы «идею секуляризации» на помещичьи владения, получила бы только более мягкий вариант феодализма.

Скажу больше, абсолютистскому правительству политически выгоднее, чтобы все его подданные имели одного владельца — государство, так что между самодержавием и вла-

дельцем крепостных всегда существовало соперничество, хотя они друг без друга жить не могли. Вмешательство Павла I в прерогативы владельцев своим указом о трехдневной барщине было первым сигналом о наступлении самодержавия на помещичий вариант феодализма. Поэтому не следует искать кризисные явления в крепостном хозяйстве для объяснения попытки Александра I отменить крепостное право. В данном случае действовал не столько «лагарповский заряд», сколько интересы государственного престижа: Россия, вершившая дела Европы, в ее глазах проигрывала как страна, в которой еще сохранялся средневековый институт личной зависимости. Если встать на такую позицию, сразу снимаются трудности, которые испытывал автор, пытавшийся найти объяснение попыткам Александра I отменить крепостное право в экономическом факторе, но тут же мотивировавший провал этих попыток незрелостью кризисных явлений в крепостном хозяйстве. Однако, когда он говорит о причинах успеха Александра II, то обращается к области политики (поражение в восточной войне и т. п.). И в первом, и во втором случаях автор отмечает явное сопротивление большинства помещиков идее отмены крепостного права и склоняется к мысли П. Струве, что крепостное хозяйство не исчерпало свои потенции. Объяснение же лежит в другой плоскости: для каждого отдельного помещика даровой труд крестьян был выгоден, как вообще может быть выгодным даровой, пусть и малопродуктивный труд, но в общегосударственном масштабе — это расточительная трата трудового потенциала нации. Именно последнее и определяло суть кризиса феодальной системы (не только помещичьего ее варианта) к концу 50-х гг., когда выяснилось, что экономика России не обеспечивает ей статус великой державы.

Второй стереотип — представление о самодержавии и дворянстве также как о «близнецах-братьях». Забывают, что относительная самостоятельность царизма была так же реальна, как и «семейные размолвки» между помещиками, дворянскими корпоративными учреждениями и царской администрацией. Это обстоятельство, по моему, снимает авторский довод о том, что и в провале проекта отмены крепостного права, и в провале введения «Уставной грамоты Российской империи» роковую роль сыграла боязнь царя повредить со своей социальной базой, боязнь повторения отцовской судьбы. Если в первом случае это логически оправдано, то во втором — явно «не работает». Павловский деспотизм не мог не

усилить стремление думающей части дворянства к ограничению самодержавия. Созданный Александром I государственный аппарат, как показал автор, целиком и полностью был готов выполнять любую волю самодержца. Если же эта воля направлялась на установление режима, при котором часть власти самодержец делил с представителями своей социальной базы, то какие же могли быть опасности для царя? В данном случае никакое повторение судьбы отца не ожидало Александра I. Да, еще в 1817 г. Александр I узнал о возникновении замысла насильственного устранения монарха (с. 93). Но, во-первых, сама эта мысль возникла в радикальных кругах столичного офицерства, дезориентированного искаженными представлениями о намерениях Александра I. Во-вторых, зная об опасности, Александр I как раз после 1817 г. развернул активные приготовления двух, как говорят сейчас, судьбоносных проектов. Следовательно, останавливала Александра I вовсе не угроза все того же повторения участи отца.

Никто иной, как сам Александр I, несет ответственность за провал своих конституционных проектов. Да, император искренне хотел реформировать политический строй, но он столь же искренне испугался, когда нужно было сделать последний и решительный шаг. И здесь позволю себе поставить вопрос: не мог ли наступивший династический кризис вызвать этот испуг? Если сопоставить момент отречения от права престолонаследия Константина (не позднее лета 1819 г.) с моментом охлаждения Александра I к разработанным проектам (проекту Гурьева — Балугьянского — примерно в декабре 1819 г. (с. 112) и к конституционному проекту — к концу 1820 г.), такой вопрос не выглядит особенно наивным. Заметим, что «охлаждение» еще не означало перехода к откровенной реакции, время которого автор определяет 1822—1823 гг.; он цитирует воспоминания Александры Федоровны, описавшей эту династическую тайну. Александр I сообщил Николаю летом 1819 г., что Константин отказался от своего наследственного права. А осенью того же года, будучи в Варшаве, Александр I говорил Константину: «Я должен сказать тебе, брат, что я хочу абдикировать (отказаться от престола. — Б. Л.); я устал и не в силах сносить тягость правительства; я тебя предупреждаю для того, чтобы ты подумал, что тебе надобно будет делать в сем случае» (с. 117). Автор комментирует эти действия Александра I как признак его «беспомощности и отсутствия так необходимых ему воли и энергии», с чем можно

и согласиться. Но когда он ставит вполне правомерный вопрос: «Нет ли связи между мыслями императора об отречении от престола и близящимся, как ему казалось, введением конституционного устройства?», его полукomentarий-полуответ абсолютно неприемлем: «Ведь вряд ли можно найти, — пишет автор, — более удобный момент для столь радикальных перемен, чем переход престола от одного монарха к другому» (с. 117).

Я думаю, что автор правильно ощутил наличие соответствующей связи, но неправильно ее интерпретирует: именно эта связь и объясняет отказ от преобразований. Не естественней ли предположить, что с точки зрения Александра I, знавшего о династическом кризисе, со всей остротой встал вопрос: имеет ли он право решать принципиальный для династии вопрос, может ли он, получивший самодержавную власть, передать наследнику власть, ограниченную представительными учреждениями? Не означает ли обращение именно к Константину, который ведь уже отказался от престола, чтобы он подумал, что ему «надобно будет делать в сем случае», — не означает ли это, что тяжесть решения он пытался переложить на племянника даже ценой своего (а не Константина) отречения? Каков бы ни был ответ на этот вопрос, автор абсолютно прав, когда утверждает историческую вину российского самодержавия, осознавшего уже в первой четверти XIX в. необходимость обновления политического и экономического строя страны, но не решившегося на «революцию сверху», которая могла быть, но не состоялась. Именно при таких обстоятельствах завязался узел, который не в силах были развязать или разрубить две запоздавшие демократические революции начала XX в.

Итак, рецензируемое исследование напрочь отбрасывает «опереточные» черты преобразовательной деятельности Александра I, какой она предстает в трудах предшественников автора. Это потребовало тотальной мобилизации всех традиционно используемых и многих новых источников, отражающих эпоху, нового подхода к их анализу и истолкованию. С этими задачами автор успешно справился; правда, ему не удалось использовать публикацию переписки Лагарпа с Александром I, не так давно вышедшую в Швейцарии.

Проблема «самодержавие и реформы» с выходом рассматриваемой работы расширила не только свои хронологические рамки, но и концептуальные горизонты. Если автор убедительно показал, что по инициативе Александра I шла успешная разработка проектов

реформ (радикальность последних он, скорее, недооценивает, чем переоценивает), которая была завершена созданием проектов законодательных актов, то ему не удалось с той же мерой убедительности показать, почему застопорились намечаемые преобразования, выявился отход от реформаторской альтернативы на сугубо консервативные позиции. Но и этот видимый пробел книги сыграет свою положительную роль в стимулировании дальнейшего изучения проблемы «самодержавие и реформы». Такова, на мой взгляд, научная значимость книги. Вместе с тем книга предостерегает современного широкого читателя (десяти тысячный тираж книги и прекрасные иллю-

страции не обычное явление для издательства «Наука»), что в реформу нельзя играть, общество, вступившее в полосу реформ, должно их довести до конца, иначе ему грозит неминуемый консервативный откат.

Б. Г. Литвак

Примечания

¹ Ключевский В. О. Соч. Т. IV. М., 1989. С. 192, 211.

² См.: Предтеченский А. В. Очерки общественно-политической истории России в первой четверти XIX века. М.; Л., 1957.

АКТЫ ПИСЦОВОГО ДЕЛА (1644—1661). М.: Наука, 1977. 287 с. Тир. 1650;
АКТЫ ПИСЦОВОГО ДЕЛА 60—80-Х ГОДОВ XVII ВЕКА. М.: Наука, 1990. 475 с. Тир. 1350.

Более 70 лет тому назад увидели свет два тома документальной публикации «Акты писцового дела». Выявил документы кадастровых описаний и налогового обложения в архивных собраниях С. Б. Веселовский. Он подготовил документы для трех томов. Первый том — «Акты писцового дела. Материалы для истории кадастра и прямого обложения в Московском государстве» (М., 1913) — предварил появление фундаментального труда ученого о сошном письме, написанного по этим документам¹. Второй том частично был напечатан в 1917 г., уже после выхода монографии ученого. Только через 60 лет в 1977 г. появилась другая половина второго тома². И вот в 1990 г. публикация последнего, третьего тома «Актов писцового дела»³ завершена.

Историки располагают теперь обширным массивом документального материала за весь XVII век, включающим писцово-переписные описания конца 20—30-х гг., середины 40-х, конца 70-х — 80-х гг. этого столетия, а также документы по налогообложению. Публикация отражает значительность мероприятий российского правительства, связанных с проведением кадастровых описаний. Трижды в течение XVII в. оно обращалось к всеобщей регистрации платежеспособности населения всех видов феодальных владений. Писцово-переписное дело во внутренней политике российских государей и правительств XVII в. занимало важное место. Таким образом правительство

получало информацию о платежных силах населения и исчисляло налоговые поступления в казну. Финансовое положение России, вынужденной выходить из глубокого хозяйственного кризиса начала XVII в., было сложным в продолжение всего столетия. Велики были потери трудовых и производственных ресурсов, что засвидетельствовали дозорные описания 10-х гг. по многим уездам. Пустая государственная казна заставила правительство прибегнуть к мерам чрезвычайным — займам у народа. В 1613—1619 гг. последовало семь таких сборов⁴. Хроническая нехватка средств, порча монеты и чрезмерный выпуск медных денег для преодоления бюджетного дефицита подтолкнули правительство к реформе налогового обложения: в 1679 г. была изменена единица исчисления налогов — ею стал двор вместо сохи.

Подступы к такому изменению уже были, а именно: сочетание поземельного и подворного обложения, выразившееся во введении живущей четверти в конце 20—30-х гг., использование результатов переписи 1646 г. для взимания некоторых налогов, по преимуществу вводимых вновь. Получив за счет смены единицы обложения прирост государственных доходов, правительство между тем не оставило намерения учесть и земли, вовлеченные в сельскохозяйственное производство. В середине 80-х гг. оно приступило к новому описанию земель, однако не довело